

Йенс Рашке

Jens Raschke

Родился в 1970 году. Изучал скандинавистику и историю. Работал зав.литом в Драматическом театре Киль, в театре на Ноймаркте в Цюрихе и в университете искусств Фолькванг в Эссене. С 2003 года входит в состав руководства Международного фестиваля монодрамы «Феспис» в Киле. С 2007 года работает автором, завлитом и режиссером в театре в Верфтпарке, в ТЮЗе в Киле, работает также журналистом.

Пьесы:

«Ich bin etwas schief ins Leben gebaut» / «Я как-то неловко встроился в жизнь», премьера: театр в Верфтпарке, Киль, 2008

«Einstein setzt Segel» / «Эйнштейн распускает паруса», премьера: театр в Верфтпарке, Киль, 2009

«Uns Siegfried» / «Унс Зигфрид», премьера: театр в Верфтпарке, Киль, 2010

«Jules Verne und die Geheimnisse von Kiel» / «Жюль Верн и тайны Киль», премьера: Театр в Верфтпарке, Киль, 2011



[В начало](#)

А РЫБЫ СПЯТ?

В прошлый понедельник Джетте исполнилось десять. Папа говорит, это называется двузначное число. Странное чувство – стать двузначным, считает Джетта. Брату Джетты Эмилю исполнилось только шесть. Это всего лишь однозначное число. Джетта рассказывает зрителю историю болезни и смерти своего брата. Она вспоминает о том, что было до этого, о прекрасных поездках всех семьей, об обычных стычках между братом и сестрой и всех тех вопросах, которые она задавала родителям и на которые они так и не дали ответа. Может ли медяница чихать? Почему солнце такое горячее? И что означает «умереть»? Что с нами происходит, когда мы мертвы? Правда ли, что смерть старший брат сна? И вообще, умеют ли рыбы спать? И станут ли черные грозовые облака, которые уже год подряд рисует Джетта, когда-нибудь светлей? Должны ли они вообще посветлеть?

Йенс Рашке написал лиричную, местами смешную, местами очень грустную монопьесу об опыте смерти и его осмыслении ребенком. Автору важны не столько ответы на вопросы, сколько наше отношение к большим и малым вопросам, которые ставит сама жизнь.

За пьесу «А рыбы спят?» автор награжден премией за лучшую пьесу для детей в Мюльхайме (2012). Премьера: 29.01.2012, театр «Theater im Werftpark», Киль, режиссер – Йенс Рашке.

[Назад к содержанию](#)

А РЫБЫ СПЯТ?

SCHLAFEN FISCHE?

Пьеса для детей от 11 лет

Перевод Анатолия Егоршева

Übersetzung: Anatolij Jegorschew

Действующие лица:

Джетта

Jens Raschke. Schlafen Fische?

*Аллея на кладбище
За рядами деревьев могил не видно.
Земля покрыта осенней листвой.
Светит солнце, птицы щебечут:
В такой день не стоит думать о смерти.*

Появляется Джетта.

В понедельник у меня был День рождения.
Мне исполнилось десять лет.
Десять.
Это единица с нулем.
Папа сказал, что такие числа называют двузначными.
Выходит, что в понедельник я стала двузначной.
Странно все-таки ощущать себя единицей с нулем.
Бывают люди и трехзначными.
Им по сто лет, а то и больше!
Как этим гигантским черепахам в зоопарке.
Помню, дядя Йонас сидел у нас на балконе, нещадно палило солнце, а мои родители рассказывали о соседе, которому стукнул сто один год.
Дядя Йонас только зевнул:

Теперь я в комнате Эмиля, окно здесь выходит как раз во двор.
Там гораздо тише.
Когда Эмиль болел, он долгое время нуждался в покое.
Очень долгое время.

Собственно говоря, Эмиль болел всю свою жизнь.
Во всяком случае, с тех пор, как я себя помню. А я на три с лишним года старше его.
Началось с его крови, и в какой-то момент всё тело изнутри стало таким больным, что ничего уже нельзя было сделать.
Мой брат Эмиль умер ровно год тому назад.
Через четыре дня после того, как мне исполнилось девять лет.
Тоже странное слово: «умер», я имею в виду.
Он умер в своей комнате. С видом на двор.
И я была при этом.
То есть мы все были при этом. Мама, папа, мистер Берни, это наш кот, ну и я.
Вообще-то, меня не было там, когда Эмиль *умирал*, я была там, когда он уже *умер*.
Папа забрал меня на машине из школы, прямо с урока, в начале двенадцатого.
Я не знала, что случилось. Пока ехали домой, он не проронил ни слова. Только неподвижным взглядом, будто окаменев, смотрел на дорогу. — Что случилось, папа? Тебе не надо сегодня на работу?
Папа не отвечал.
Мне стало страшно.
Эмиль лежал в постели, как лежал в ней всегда, когда спал.
На спине.
Я спать на спине не могу, а вот Эмиль может.
Голова немного наклонена, глаза закрыты, руки под одеялом, дыхания почти не слышно.
Вот так он лежал:

Она ложится на скамейку, показывает.

И очень бледен был.
Как йогурт.
Я быстро подошла к нему, думала, что он наверняка еще не проснулся, коснулась его лица, хотела разбудить его и сказала: «Эмиль! Проснись, Эмиль, пора вставать, уже двенадцатый час».
Но мама тут же отвела мою руку от его лица и заплакала. Сначала совсем тихо, а потом разрыдалась. И у нее потекло из носа. Сопли, только тонкой струйкой. Сопли с водой, кажется.
Понятия не имею, что это было.
«Эмиль умер».

Это сказал папа. И это были первые и единственные слова, которые он сказал мне в тот день: «Эмиль умер».

Моего брата действительно звали Эмиль.

Дурацкое имя, правда?

Эмиль...

Похоже на старого дедушку.

Эмиля назвали Эмилем благодаря *Михелю из Лённеберги*.

Маленького мальчика в книге Астрид Линдгрэн зовут Михель.

У нас, в Германии.

В Швеции же, где Астрид Линдгрэн написала свою книгу, Михель зовется не Михелем, а Эмилем.

Михелем Эмиль зовется только в Германии.

Из-за *«Эмиля и сыщиков»*.

Это другая книга.

Дядя Йонас объяснил мне, в чем тут фокус.

Но до конца понять это я так и не смогла. А поскольку мама и папа находят книгу *«Михель из Лённиберги»* просто классной и всегда желали завести себе маленького Михеля, то и назвали Эмиля Эмилем.

Потому что в конце концов они сочли, что «Эмиль» лучше, чем «Михель».

Сложно, да?

Меня зовут Джетта.

Понятия не имею почему.

В «Эмиле» на одну букву меньше, чем в «Джетте». Но я же и старше его.

— У твоего братца рак, — сказал на большой перемене жирный Маркус.

— У твоего братца рак, и вылечить его нельзя. Твой братец скоро сохнет. Его закопают в землю, и он начнет там гнить.

Этот Маркус — не человек, а жирный мерзкий идиот.

Неудивительно, что у него нет друзей.

«Я желаю, жирнюга Маркус, чтоб как раз ты заболел, сох и начал гнить!».

Конечно, я только так подумала, вслух я этого не сказала.

Эмиль часто лежал в больнице.

Иногда по многу недель подряд.

В больнице — только для детей, далеко отсюда, на другом конце города.

Своей комнаты, да еще с видом на двор, у него там не было.

Лежал он в огромной металлической кровати, с трубками на руке, с проводами на груди и с затычками в животе, а рядом с ним лежал другой мальчик, тоже в громадной металлической кровати.

Соседи у Эмиля менялись.

То это был Феликс, то Майк, то Себастьян и как-то даже Луис Мигель.
Луис Мигель Хальтауфдерхайде.
А еще был Селим.
Селим был одним из последних мальчиков, с которыми Эмиль лежал в
больничной палате.
Селим был старше Эмиля, и потому ещё больнее.
От всяких процедур и лекарств, которые ему давали, у него на голове
выпали волосы. И брови тоже.
Странно это выглядело.
Похож был на мега-головастика.
Хотя Эмиля тоже пичкали лекарствами, выглядел он, в сравнении с
Селимом, еще вполне здоровым — толстым и розовым, как поросенок.
У него всегда было чувство голода. Или аппетит.
Особенно на пиццу.
Ой, вспомнила...
Минуточку.
Внимание...

Она достает из сумочки потрепанную фигурку из фильма-боевика.

Это суперпиццабой!

Суперпиццабой появился на свет как дитя человеческое, где-то в Америке, но после смерти родителей был усыновлен инопланетянами и воспитан на Спакко-Платто X5.9 в системе Гигапетагоберт. Мама и папа умерли вскоре после его рождения, и суперпиццабой был этим, конечно, очень опечален. Но спакко-платторианцы относились к нему очень хорошо и делали все, чтобы он вновь стал веселым. Кроме того, они научили его передвигаться по Вселенной со скоростью света.

Вррруууммм!

Когда мальчику исполнилось восемь лет, он ночью удрал из дома, вернулся на Землю, свою настоящую родину, и начал бороться со злом. А чтоб его никто не узнал, он замаскировался, стал разносчиком пиццы. Отсюда его имя — *Супер-пиц-ца-бой!*

Я подарила Эмилю суперпиццабоя в тот день, когда ему исполнилось пять лет. Целых три дня понадобились, чтоб смастерить его.

На одну только картонку для пиццы ушло не меньше пяти часов.

Эмиль ел пиццу с превеликим удовольствием.

Если бы это зависело только от него, то он ел бы пиццу каждый день. Утром, днем и вечером. И даже ночью, когда не мог спать, — потому что появлялись боли или его вдруг охватывал страх.

Больше всего он любил пиццу с анчоусами. Это такие маленькие соленые рыбки. А я такую не очень люблю, мне больше нравится та, что с моцареллой и помидорами. «На вкус и цвет товарищей нет», — как говорит дядя Йонас.

Так вот, там был этот Селим.

Его мама, точно так же, как и моя мама, каждый день приходила в больницу. И тогда обе мамы сидели возле больших металлических кроватей своих сыновей и рассказывали им о домашних делах. Хотя моя мама вообще-то не знала, что делается у нас дома, ведь практически целый день она находилась в больнице, у Эмиля.

Поэтому после школы мне приходилось идти к дяде Йонасу, который живёт через пару улиц от нас и не имеет ни работы, ни детей, — и выслушивать его нытье.

Иногда мне казалось это очень даже несправедливым со стороны мамы.

И со стороны Эмиля тоже.

Зато я умею теперь играть в скат.

Дядя Йонас меня научил.

Эмиль и Селим сразу же подружились, хотя Селим был по меньшей мере вдвое старше Эмиля.

Селиму даже разрешалось играть с разносчиком суперпиццы.

Такой классной игрушки у него, кстати, не было, не было и такой классной сестры, которая могла бы ему смастерить такого чудного человечка.

Зато у него было много книг, отрывки из которых он часто читал Эмилю.

Это были безумно увлекательные истории о приключениях в далёких, загадочных странах, о принцессах, нежных, как дуновение ветерка, о мерзких, гадких колдунах, о злых драконах и каменных великанах и о героях, которые никогда не умирают.

— А бывает так, что человек вообще не умирает? — как-то захотел узнать у меня Эмиль.

— Конечно, нет, — сказала я, — все люди когда-нибудь да умирают, и животные тоже.

— Но почему же в историях люди не умирают?

— Потому что это всего лишь истории. Это не реальная жизнь. Это то, чего мы себе желаем и что считаем прекрасным.

— Я тоже считаю, что это прекрасно, жить и знать, что ты никогда не умрешь, — сказал Эмиль.

— Думаю, смерть — это совсем не прикольно.

Когда мы вели тот разговор, Селим уже умер.

Он умер дома. У своей мамы.

Мы не сообщили об этом Эмилю.

— Селим улетел к своей семье, в Турцию, — сказала мама, — и будет там постепенно выздоравливать.

Эмилю это понравилось.

Хотя ему теперь очень не хватало Селима.

Она осторожно роется в корзине для бумаг и достает оттуда различные предметы.

Чего только не найдешь на кладбище в корзине для бумаг. Даже странно! Я уже находила тут всякую всячину: банки из-под колы, пустые сигаретные пачки, совсем ещё свежие цветы в упаковке, скомканный постер с портретом Джастина Бибера, а однажды нашла письмо, написанное женщиной ее умершему мужу. Оно обрывалось в середине фразы: «Мне так тебя не хватает, особенно, когда...» — Конец.

Как-то нашла даже бумажный стакан для попкорна.

Пустой.

Я сказала об этом маме. Она считает, что нехорошо, когда люди едят на кладбище попкорн.

Сама же я считаю, что, если человек голоден, он может и здесь поесть. Иногда я сижу тут часа два-три, проголодаюсь и думаю: «Появился бы тут сейчас разносчик суперпиццы и принёс бы мне порцию с томатами и моцареллой: «Порция ТоМо — для милой Джетты!» — Вот было бы круто!»

Потом я спросила бы его, что делается в настоящий момент на Спакко-Платто Х5.9 в системе Гигапеталогоберт, и суперпиццабой ответил бы: «Понятия не имею, в отпуске не был целую вечность, может, планеты этой уже нет, потому как ее давно сожрали громадные черви».

Ведь Спакко-Платто Х5.9 раз за разом атаквали огромные, ужасно прожорливые черви-монстры.

Н-да, потом суперпиццабой снова двинется дальше, чтоб доставить пиццу кому-нибудь другому: «Чао, Джетта, еще увидимся!»

Есть люди, которые умирают во взорвавшихся на пути к Луне ракетах.

Бывает: умирает человек — и никто этого не замечает. А бывает: умер человек — и весь мир рушится.

Одни люди умирают в дырявых носках, другие — без штанов, а третьи — в водолазных костюмах с ластами и дыхательной трубкой.

Есть люди, которые умирают оттого, что шайба во время игры в хоккей попала им прямо в лоб. В других ночью на лугу попадает молния — *кацонг!* -, два-три дня они еще живут, удивляясь и радуясь тому, что они целы и невредимы — а потом все же умирают.

Разве это справедливо?

Не знаю.

Она кладет суперпиццабоя на скамейку и долго рассматривает его.

Мама, мистер Берни и я еще долго сидели возле постели Эмиля.

Мистер Берни вылизывал свои лапки.

У мамы текло из носа.

Папа вызывал кого-то по телефону.
Он нервно ходил взад и вперед по коридору и говорил очень тихо.
В какой-то момент позвонили, и в дверях появились двое мужчин в черных костюмах. Глядели они на нас как-то странно.
Я бы сказала, скука в глазах у них смешалась с нечистой совестью.
— Джетта, ты должна попрощаться с Эмилем.
Папа положил руки мне на плечи и прошептал что-то на ухо, но так тихо, что слов я почти не разобрала.
Руки у него были холодные, как лед, и дрожали.
Только теперь я поняла, что все очень серьезно.
Что мне придется попрощаться с Эмилем навсегда.
Что теперь все иначе, чем прежде, когда Эмиля увозили в больницу на другом конце города, и я говорила ему «пока».
Я взглянула на него еще раз.
Он выглядел и в самом деле, как йогурт.
А вовсе не как Эмиль
Я сказала: «Пока, Эмиль!»
Вот и все.
Мы с папой и с мамой пошли на кухню, где мама опять разрыдалась, на этот раз ужасно, и я подумала: 'О господи, теперь она больше не перестанет'.
Чуть позже я услышала, как те двое вышли из квартиры, и папа закрыл за ними дверь.
Я прошла в свою комнату и выглянула из окна.
Внизу стоял длинный черный автомобиль. Из подъезда вышли те двое с продолговатым ящиком и засунули его сзади в машину. Сами сели спереди и уехали.
И тут мне вспомнилось: я была поменьше, мы с мамой проходили мимо дома, из которого четверо мужчин выносили такой же ящик. Они тоже погрузили его в длинный черный автомобиль. Мужчин тогда было четверо! Но ведь и ящик был намного больше, чем тот, который только что увезли отсюда. По меньшей мере, в два раза больше.
Меня это тогда очень взволновало, я дернула маму за рукав и крикнула:
— Мама, смотри, кто-то переезжает!
Но мама тут же прикрыла мне рот рукой, и мы очень быстро пошли дальше.
Когда я зашла в комнату Эмиля, он исчез.
За стеной всхлипывала мама. И папа, по-моему, тоже.
Мистер Берни бродил по квартире в полном смятении.
Мне тоже стало вдруг так тоскливо, что я села на край пустой кровати Эмиля и заплакала.
Совсем тихо.
Потом мы сидели в столовой. У папы был очень усталый вид. И все-таки он

бодрился и даже поглаживал меня по спине.
Мама уткнулась головой в руки и дрожала.
Потом неожиданно подняла глаза, взглянула на пустой стул Эмилия и сказала нечто такое, чего я не поняла:
— Невозможно смириться с тем, чтобы ребёнок умирал раньше своих родителей.
По-моему, это было довольно гадко с ее стороны.
Разве Эмиль виноват в том, что умер раньше мамы и папы?

Когда несколько дней спустя мы с папой стояли в ванной и чистили зубы, я спросила его, что же мама все-таки имела в виду.

— Этим она хотела сказать, что пережить собственную смерть легче, чем кончину других людей.

— Почему?

— Может, потому, что быстрее всё остаётся позади.

Этого я не поняла.

— Видишь ли, Джетта...

Я заметила, что папе что-то было ужасно неприятно. Он сел на край ванны и, стиснув зубы, задумался. А когда он размышляет о чем-нибудь, стиснув зубы, то между глаз у него образуются две-три маленькие складочки. И выглядит это, прямо скажу, забавно.

— Смотри, Джетта, малыш Эмиль умер. Значит, теперь у него ничего не болит. А вот у нас...

— И откуда ты это знаешь?

Папа посмотрел на меня ещё более озадаченно.

— Я имею в виду, откуда ты можешь знать, что болей у него теперь меньше, чем раньше? Ты же этого вовсе не знаешь.

— Да, я этого действительно не знаю, но ...

— Ты же мне сам сказал, что никто не знает, что происходит с нами после того, как мы умрём. Помнишь?

Между глаз у папы вновь появились три маленьких складочки. Или их стало уже четыре?

— А если это никто не знает, то тогда и ты знать не можешь, есть у Эмилия теперь боли или нет?

Пять складочек! Я увидела пять складочек!

Абсолютный рекорд.

— Ты права. Я этого действительно не знаю. Но тебе пора спать, Джетта, уже поздно.

Когда я была маленькой, я как-то спросила папу: что происходит с нами, когда мы умираем.

— Папа, что с нами произойдёт, когда мы умрём?

— Ну, точно этого не знает никто.

— Но ты-то должен знать, что тогда происходит.

— Нас похоронят.

— Похоронят?

— Да. Нас закопают в землю, а потом у нас из живота вырастут цветы.

— А зачем нас закапывают?

— Чтобы здесь, наверху, на Земле, оставалось место для новых людей. Ты только представь себе, что всех людей, умерших со дня возникновения нашего мира, просто оставляли бы лежать там, где они умерли. Тогда и ступить было бы некуда. Вот поэтому мы и хороним наших усопших. Поэтому мы вообще умираем. Чтобы уступить место новым людям.

— Да пошли они, эти новые люди кой-куда...

— Но ведь ты, Джетта, тоже была когда-то новым человеком.

— Гм. И где же нас закопают?

— На кладбище.

— Кладбище? Странное, однако, слово. А что произойдет потом?

— Потом мы будем постепенно растворяться в воздухе.

— Растворяться?

— Да, пока сами не станем землей.

— Я думала, мы растворимся в воздухе.

— В воздух или в землю — разница невелика. В сущности, ее вообще нет.

Вон оно что...

— И как долго это длится?

— Как когда...

Как? И когда?

— И как же мы растворимся?

— В основном с помощью существ, которые живут в земле и поедают нас. Черви, насекомые и прочие.

— Они поедают нас? Фу!

— Видишь ли, Джетта, им тоже хочется жить.

— А это мне всё равно! Меня они есть не будут. И тебя, и маму тоже. И Эмиля.

На нём всё равно уже ничего не осталось.

Тогда Эмиль еще не был толстым, как поросенок.

— Боюсь, Джетта, этого не избежать.

Мне стало жутковато при мысли, что черви когда-нибудь возьмутся и за меня, и я стала думать, как могла бы от них защититься.

Могла бы натереть тело античервячным ядом.

Могла бы облачиться в стальные доспехи.

Могла бы повесить на грудь табличку с надписью: *Грызть строжайше запрещено!*

Могла бы...

Могла бы...

И вдруг меня осенило: ничего из этого не выйдет.

Если ты умер — ты ничего больше уже не можешь.

На следующий день после смерти Эмиля мы поехали на машине в магазин, где можно купить все, что необходимо для похорон. Прежде всего, конечно, гроб. Без него ведь не обойтись. Гроб — это вроде как кровать для умерших. Похож на ящик, в котором двое вспотевших мужчин унесли Эмиля, — только красивее.

Сделан из дерева, с подушкой внутри и покрывалом, по желанию.

Выглядит очень удобным.

Хотя гроб, сам по себе, не так уж и важен.

Это сказал Селим.

Там, откуда родом его семья, умерших хоронят в земле без гроба, заворачивая только в кусок полотна.

Объясняется это, по-моему, тем, что в южных краях всегда по-настоящему тепло.

Многие люди велят сжечь их после смерти и тогда свободно помещаются в стакане для попкорна.

Класс, правда?

Мама по-прежнему выглядела очень печальной и за время всей поездки не сказала ни слова.

Папа тоже молчал, зато как дрожали его губы!

Мне хотелось бы взять с собой мистера Берни. Но оказалось нельзя. В общем, я сидела сзади одна, рядом с пустым детским креслом Эмиля, и смотрела на улицу, где лило как из ведра.

Повсюду вода, думала я.

Эмиль всегда боялся воды.

И не умел плавать.

Но когда бы он мог этому научиться?

В этом году Эмиль пошел бы в первый класс.

Он заранее радовался этому.

На уроках физкультуры хотел играть в футбол.

Хотел научиться читать так же бойко, как Селим.

Мечтал, чтобы в первый школьный день у него был самый большой праздничный кулёк.

— А пицца туда поместится? — спросил он маму.

Мама громко рассмеялась и погладила Эмиля по голове.

— Мы её обязательно туда поместим.

— Обещаешь?

— Обещаю, Эмиль, обещаю.

Выбрать гроб для Эмиля позволили мне.

Гроб для умершего ребенка часто выбирают его братья и сестры, рассказал нам служащий в магазине, ведь они сами еще дети и поэтому лучше знают, какой гроб наиболее подходящий.

Для Эмиля я выбрала абсолютно белый гроб.

И сказала, что было бы классно, если каждый, кто придет на похороны, напишет или нарисует на нем что-нибудь цветное.

Родители одобрили мою идею, а когда мы ехали домой, все еще шел дождь.

Мама опять плакала, папа опять молчал, а я опять сидела сзади, смотрела на пустое детское кресло Эмиля и думала о том, что теперь будет дальше.

В первые два дня после смерти Эмиля я не ходила в школу, пошла только на третий день.

Папа сказал, что этот вопрос я могу решать сама.

Честно говоря, я была очень рада, что снова могу ходить в школу.

Потому что дома...

Ну, как вам сказать...

Сами можете догадаться.

Настроение дома было далеко не радужным.

Мама заливалась слезами. Почти без перерыва.

Если же случалось, что она не плакала, то тогда сидела и ничего не делала, иногда вставала и начинала ходить взад и вперед.

А потом опять начинала плакать. Ещё сильнее.

Несколько раз я пыталась ее утешить.

Но она меня просто, думаю, не заметила.

Временами она лишь смотрела на меня красными от слез глазами и говорила:

— Ничего, ничего, Джетта, все опять образуется.

И принималась снова ходить взад и вперед, взад и вперед.

На второй день папа вышел со мной из дому — погулять.

— Пойдем, Джетта, оставим маму ненадолго одну, — сказал он.

И мы вышли, а мама продолжала сидеть за столом, уставившись в одну точку.

На улице моросил дождь, но мне было всё равно.

Главное — не дома.

Мы пошли по улице к парку.

Там течет небольшой ручей. От дождя воды в нем прибавилось.

— Смотри-ка, папа, ручей.

Папа взглянул.

— Да, Джетта, очень красиво.

— А ручей в Дании помнишь?

Папа глянул еще раз.

— Да, Джетта, помню. С плотиной.

Пару лет назад мы построили плотину — папа, Эмиль и я.

Самую что ни на есть настоящую.

Ну...

Почти что настоящую.

Мы сняли в Дании домик, и там через сад тек такой же ручей. И вот из камней, сучьев и мокрой земли мы построили плотину.

Эмиль подносил небольшие камни и бросал их на землю за два-три метра до ручья, потому что боялся воды. И потому что уже болел и ослаб.

Помню, в ручье водились маленькие рыбки, но вниз по течению хода им больше не было — из-за нашей запруды. А поскольку уже наступал вечер и смеркалось, во мне заговорила совесть: ведь рыбки явно хотели попасть домой, чтобы лечь спать.

И тогда я спросила папу:

— Папа, а рыбы тоже спят?

Папа как-то странно посмотрел на меня и что-то пробормотал себе под нос.

И тогда мне стало ясно, что он и сам этого не знает.

Как не знает, могут ли змейки подхватить насморк, почему Солнце горячее или почему у дяди Йонаса волосы растут в ушах, а не на голове.

Папа многого не знает, теперь уже я пришла к этому выводу.

Во всяком случае я ещё раз незаметно выскользнула из дома и вынула из запруды несколько камней, чтобы рыбки могли попасть домой в свои постельки.

На тот случай, если они действительно спят.

Об этом я подумала, когда мы с папой шли через парк под дождем.

— Мама на меня сердится?

— Как тебе такое могло прийти в голову, Джетта? Мама любит тебя больше всего на свете.

— Нет, я думаю, Эмиля она любит больше, чем меня. Даже теперь.

— Это не так, Джетта. Она вас любит одинаково. Но Эмиль долго болел, и нужно было заботиться о нем в первую очередь. Однако это не значит, что она любит его больше, чем тебя.

Эти слова заставили меня задуматься.

Может, папа прав, и мама будет теперь, когда Эмиля уже нет среди нас, больше заботиться обо мне, хотя я ничем не болею.

Я решила сначала обождать.

Когда мы вернулись, мама по-прежнему сидела за столом и смотрела в одну точку.

Она не плакала.

И меня по-прежнему не замечала.
Я прошла в свою комнату и уложила в ранец учебники — на следующий день.

Фрау Фреерс, наш классный руководитель, была невероятно мила со мной.

Обычно это бывает не так.

Из-за меня был изменен весь урок.

Фрау Фреерс спросила класс, приходилось ли кому-нибудь еще «входить в соприкосновение со смертью».

Так и сказала.

В соприкосновение.

Будто смерть — это вещь, которую можно потрогать.

Надин, одна из тех зубрил с первого ряда, сказала, что два месяца назад, когда она была в школе, умер ее попугайчик.

Его звали Руди.

«Мама просто бросила попугайчика в ведро с мусором, а потом пошла в зоомагазин и купила мне нового».

Значит, Надин приходит из школы, а в клетке сидит совсем другой попугайчик и смотрит на нее так, будто она с Луны свалилась.

«И звали его не Руди».

Сперва Надин была, конечно, в шоке. Но когда мама в довершение ко всему сказала ей, что старого попугайчика она выбросила в ведро с мусором и что дочка должна бы этому порадоваться, вот тогда Надин расхныкалась.

«По крайней мере, я сказала бы ему последнее 'Прощай'».

Это я даже ещё могла понять.

Я бы тоже стала всем жаловаться, если бы пришла домой и вдруг увидела, что в постели Эмиля лежит совсем другой Эмиль.

Которого даже зовут не Эмиль. А Михель, или еще как-нибудь.

А тут — попугайчик.

По-моему, сравнивать нельзя.

С Эмилем.

Короче, фрау Фреерс спросила потом, куда попадает человек, когда он умирает.

И эта тупая зубрила Надин тут же вытянула руку вверх и сказала:

— На небеса, фрау Фреерс.

— Правильно, Надин, — сказала фрау Фреерс, — мы попадаем на небеса. Если посчастливится, то как ангелы, или же как звезды или облака. Как когда...

Как когда? И как? И когда?

Значит, мне надо вообразить Эмиля маленьким, толстым ангелом, как на рождественском календаре?

Или звездой?

Или облаком?

Гмм.

Облака обыкновенно белые. Или светло-серые.

Только во время бури или перед грозой они становятся тёмными и черными. «Небо разгневалось», — всегда говорит дедушка Рюдигер, если за окном сверкают молнии и гремит гром.

И если Эмиль стал облаком, подумала я, то он тоже сильно досадует и гневается на то, что не может теперь быть тут, с нами.

И на то, что эта тупая Надин поставила его на одну доску со своим попугайчиком.

Короче, я начинаю рисовать облака.

Тяжелые, черные облака.

Гневные облака.

Одни люди умирают дома — в постели, в ванной, а то и на ковровом покрытии в столовой, другие — совершенно неожиданно в больничной уборной.

Очень, очень немногие умерли в чреве кита,

зато гораздо больше испустивших дух на чердаках или в подвалах.

Бывает, люди умирают, пересекая пустыни, поднимаясь на горные вершины, влезая на деревья. Другие умирают, стоит им сесть на велосипед, зайти в фотоавтомат или ступить на эскалатор в торговом центре.

У некоторых умирающих на стене сидит всего одна муха, у других не сидит ни одной.

Кто-то, умирая, истекает кровью, потому что другие люди изрешетили его пулями. Некоторые умирают с улыбкой на устах, другие — с желанием сказать последнее прости, третьи предпочитают умереть молча.

Некий человек умер на складе мышеловок, когда вдруг погас свет, но, быть может, это всего лишь слухи.

Однажды я сидела возле постели Эмиля.

Месяца за два до его смерти.

Он уже был тонким как былинка.

И выглядел очень задумчивым. Таким я его еще не видела.

Почти по-настоящему взрослым.

— Сейчас у тебя что-нибудь болит, Эмиль?

В последние полгода перед смертью боли беспокоили Эмиля все чаще — в самых разных местах, по всему телу.

— Терпеть можно.

— Ну и хорошо.

— Да.

— Ты смотришь на меня как-то странно.

— Да? Гм.

Пауза.

— Слушай, Джетта.

— Слушаю.

— Знаешь, что кажется мне нелепым?

— Что, Эмиль?

— Нелепо, что я потом не буду знать тебя.

— Что ты имеешь в виду, Эмиль?

— Ну, что буду знать тебя не дольше того дня, когда умру. Ведь когда я умру, ты будешь жить дальше. Но вот что ты будешь делать, когда я умру? Это мне хотелось бы знать.

— Н-да, Эмиль. Я этого тоже еще не знаю.

— Я знаю, что ты не знаешь. Но когда-нибудь ведь будешь знать. А я — нет. Вот это я и считаю нелепым.

И снова пауза.

— Слушай, Джетта.

— Слушаю.

— Мне страшно.

— Это я могу понять, Эмиль.

— Нет, этого ты понять не можешь.

— Не могу?

— Нет. Не можешь. Никто не может. Ты и мама и папа — вы останетесь здесь, а я уйду. И вы меня когда-нибудь забудете.

— Забыть тебя, Эмиль? Ты что, спятил? Мы же никогда тебя не забудем.

— Нет, забудете. Еще как забудете!

И тогда Эмиль заплакал. Он зарылся лицом в подушку, ему было стыдно из-за того, что я видела его плачущим.

Я тронула его за плечо.

— Оставь меня! Оставь меня в покое! И не трогай меня! У меня все болит!

— Извини, Эмиль, но я думала...

— Это глупо, что я сейчас плачу? Как ты считаешь?

— Нет, это вполне нормально. Мне кажется, я бы тоже плакала.

— Ну, ясно, ты же девочка.

— Ну, конечно! Именно по этой причине — голова ты садовая!

И тут Эмиль засмеялся. Он всегда смеялся, когда замечал, что я на него сержусь.

— Джетта, давай сыграем в похороны.

— В похороны? Как это?

— Да так. Мы же можем представить себе, что мы на моих похоронах. В шутку.

Ну?

— Ладно, если ты так хочешь. А боли у тебя разве прошли?

— Терпеть можно. Так. Значит, будем считать, что я умер. Стой... А как же это

оно — быть мёртвым?

— Гм, может, лежать как птицы внизу, во дворе. Ты закрываешь глаза, больше не дышишь и чувствуешь, что весь окостенел.

— Ага. Ну ладно, значит, так...

Она ложится на скамейку, вытягиваясь в струнку, закрывает глаза и задерживает дыхание, пока ей хватает на это сил. Потом опять садится, глотая воздух.

— Уфф, как это, однако, утомительно даже ненадолго уйти из жизни. Так, а что же дальше?

— А дальше тебя кладут в деревянный ящик и везут на кладбище. В красивом, большом, черном автомобиле. Светит солнце, цветут цветы, народу много, и несколько сильных мужчин несут тебя от автомобиля к твоей могилке: «Ух! Какой он тяжелый! Такой маленький, а весит, как три мешка картошки!»

Эмиль хихикнул и пихнул меня в бок:

— Но я ведь вовсе не такой тяжелый! А что потом?

— Потом... Потом многие люди будут говорить о тебе очень много хорошего. Сначала пастор: «Дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы попрощаться с Эмилем. Эмиль был очень хорошим маленьким мальчиком, он больше всего любил пиццу. Поэтому Господь Бог решил, что Эмиль должен попасть на то небо, где очень много пиццы и где он целый день может вкушать от нее столько, сколько захочет. Аминь».

Глаза у Эмиля загорелись.

— Небо с пиццей? И такое есть на самом деле?

— Конечно же, есть, Эмиль. А ты как думал?

— Ну, тогда это просто здорово. А кто еще скажет что-нибудь обо мне?

— Мама и папа, конечно, потом, может, и я, а ещё...

— И что же расскажешь обо мне ты?

Я задумалась.

— Расскажу, например, как ты упал со своего трехколесного велосипеда и не заплакал, хотя тебе наверняка было больно. И как мы потеряли тебя на ярмарке, и мама безумно боялась, что больше никогда тебя не увидит. И как мы во время каникул построили плотину, а папа не знал, спят рыбы или нет.

— А разве рыбы спят?

— Точно не знаю, но думаю, что все-таки спят.

Эмиль задумался.

— Как ты думаешь, рыбы считают овечек, чтобы заснуть?

— Думаю, рыбы вообще не знают, что такое овцы. Ведь они никогда не выходят из воды по-настоящему.

Эмиль снова задумался.

— А спать — это все равно, что умереть?

- Может быть. Только ты больше не просыпаешься.
- Но тогда это что-то совсем иное.
- Точно, Эмиль.
- А что ты еще расскажешь на моих похоронах?
- Еще не знаю. Но ведь до этого еще много времени. И я, наверняка, еще что-то придумаю.
- А что будет потом?
- Когда все люди выскажутся о тебе, мы споем несколько веселых песен — тебе это понравится, Эмиль. Потом каждый получит баночку с краской, чтобы написать или нарисовать что-нибудь прекрасное на твоём гробу. А когда мы закончим, мы пустим в воздух разноцветные шарики, и к каждому из них будет прикреплено твоё фото. Шарики полетят вокруг света, до самой Австралии, а до нее отсюда огромное расстояние, ты это знаешь? Ну, а потом тебя положат в яму, и папа с дядей Йонасом засыпят тебя землей. На холмик положат красивый камень, и на нем большими буквами будет написано твое имя — ЭМИЛЬ. Потом все пойдут домой, будут думать о тебе и никогда тебя больше не забудут.
- Эмиль выглядел явно довольным.
- Звучит красиво, Джетта. Но ведь, может, я вовсе и не умру. Быть может, я всего лишь усну и снова проснусь. Или вернусь призраком, или вампиром. Да-да, вампиром! Вопьюсь тогда тебе и маме и папе зубами в горло. И тогда мы все опять будем вместе. Навсегда.
- Да, Эмиль, ты прав. Быть может, ты всего лишь уснешь.

Похороны Эмиля были неудачными.
Расскажу, если хотите.
Погода была хуже некуда.
Все было серым: небо, кладбище и люди тоже.
Мои бабушки и дедушки были серыми; мама, папа и их друзья были серыми; даже дети из детского сада Эмиля и их родители были совершенно серыми.
Наверное, и я была серой.
Но самым серым был дядя Йонас.
Естественно.
Единственное, что не было серым, был белый гроб Эмиля.
Гроб стоял на этой траурной церемонии в полном одиночестве, перед алтарем, в то время как пастор Виганд говорил сплошь вещи, которые я вообще не поняла.
Что Бог «забрал» Эмиля «к себе», что Бог «добр» и «милосерден».
Как Бог одновременно может быть добрым и забирать у меня моего брата Эмиля, думала я.
Сквозь окна церкви было видно, что пошел дождь.
А ведь я обещала Эмилю солнце.

Пастор Виганд закончил наконец свою речь.

Теперь вперед вышли мама и папа.

Мама тоже хотела что-то сказать, но когда она встала возле гроба Эмиля, то слезы не дали ей говорить, и папа отвел маму назад, на ее место.

Теперь настал мой черед.

Я встала и пошла к Эмилю.

В руках у меня был пакет, полный маленьких баночек с красками.

Я достала их из пакета, открыла и осторожно расставила на гробе Эмиля..

Подле них положила несколько разных кисточек, от совсем тонких до совсем толстых.

Потом посмотрела на ряды сидящих.

Взглянула в серые, вопросительные лица.

Набрала в легкие воздуха и сказала:

— Несколько месяцев назад мы с Эмилем играли в похороны. И нам было очень весело. Светило солнце, и Эмиль смеялся, хотя ему хотелось плакать. Я сказала ему, что все, кто придет на его похороны, напишут или нарисуют на его гробе что-нибудь прекрасное. Ему это очень понравилось. Так что каждый желающий может сейчас подойти, выбрать краску и нарисовать что-нибудь на гробе Эмиля. Начну сама.

Я взяла кисточку, открыла баночку с черной краской, глубоко окунула в нее кисточку и старательно написала на крышке гроба: «Мне тебя очень не хватает. Твоя сестра Джетта». Над словом «Джетта» я нарисовала большое разгневанное облако, из которого на отдельные буквы падали крупные черные капли гнева.

Безутешно и печально.

Дети из садика, в который ходил Эмиль, были первыми, кто вышел вперед.

Расселись вокруг гроба на корточках маленькими группками и, хихикая, начали рисовать. Вскоре на белизне дерева засияло большое оранжевое солнце, заскакал коричневый пони, присел желтый зайчик, жуя ярко-красную морковку. Рядом с моим облаком один из мальчиков нарисовал радугу, а вблизи нее по небу летел зеленый, как травка, самолет.

Красивая получилась картина.

Потом стали подходить взрослые.

Рисовать затруднялись, в основном лишь писали в одном углу свои имена. Некоторые — только имя, некоторые — имя и фамилию, а кто-то написал даже «М.Хуберти».

Печатными буквами.

Ну, тушите свет.

Минут за двадцать отметились все.

Мама и папа тоже попрощались с Эмилем рисунком: разгневанное облако обрамляло большое лиловое сердце, а под моим именем они просто написали два слова: «Мама и Папа».

Потом поехали на кладбище.

Дождь усилился, и все раскрыли зонтики — черные и серые.
Образовалось небольшое пластиковое озеро из черных и серых зонтиков.
Двое мужчин в черном вывезли на тележке из зала разноцветный гроб Эмиля.
Дождь тут же смыл с белой древесины все прекрасные рисунки.
Осталась лишь только грязно-пестрая мазня.
И тогда мне стало по-настоящему горько.
— Я не хочу идти дальше со всеми, — сказала я папе. Он что-то сказал дяде Йонасу, тот взял меня за руку и пошел со мной к автостоянке.
Мы сели в машину и стали ждать.
Дождь барабанил по крыше и в окна.
Я представила себе, как Эмиля в его гробу опускают сейчас в яму в земле, как все встанут вокруг нее с поникшими головами и как затем двое мужчин в черном начнут бросать на гроб Эмиля комья земли.
Я прислонилась головой к плечу дяди Йонаса и заплакала.
Я плакала.
И плакала.

Несколько недель после похорон Эмиля я чувствовала себя скверно.
Днем у меня было плохое настроение, а ночью я почти не спала. Если же и удавалось заснуть, то мне снились ужасы, от которых я вновь просыпалась.
Мама и папа тоже чувствовали себя скверно.
Мама часами сидела одна за столом в большой комнате и смотрела в одну точку. Потом вдруг начинала плакать, слезы лились ручьем, а когда папа приходил с работы, разговора у них не получалось.
Мне кажется, их как бы мучила совесть.
Из-за того, что Эмиль умер.
Честно говоря, меня тоже немного мучила совесть.
Потому что не отважилась сказать ему, что он не проснется.
Потому что рассказывала ему о каком-то небе с пиццей.
Потому что не была рядом с ним ни тогда, когда он умирал, ни тогда, когда его хоронили.
Потому что часто злилась из-за того, что родители заботились о нем больше, чем обо мне.
Потому что иной раз, пожалуй, даже желала, чтобы его, наконец, не стало...
И вот его больше нет, и мне не хватает его безумно.

Однажды фрау Фреерс поговорила с моими родителями, а они поговорили потом со мной.
И мама сказала: «Мне жаль, что я заботилась о тебе так мало, Джетта, но ведь твой братик был таким маленьким и беспомощным».
И папа сказал: «Поверь, мы это не со зла, но ведь мы и сами были такими беспомощными».

— Мы обещаем тебе, что все переменится, но для этого нужно время, — сказала мама.

— Нам кажется, — сказал папа, — что было бы, пожалуй, совсем неплохо, если бы ты поговорила с детьми, с которыми происходит то же, что и с тобой. Происходит то же, что и со мной?

Это мы ещё посмотрим.

Пару дней спустя, после обеда, они привели меня в группу детей, которые тоже потеряли кого-нибудь — брата, сестру, маму или отца, — и были этим очень опечалены.

Странно, но до того момента я всегда считала, что была единственной девочкой, потерявшей такого вот брата — Эмиля.

Между тем в этой группе было двенадцать детей, с которыми произошло то же, что и со мной.

Саския, у которой брата-близнеца переехала машина.

Мануэль, у которого младшая сестра вдруг просто упала на уроке физкультуры — и умерла

Игорь, у которого мама покончила жизнь самоубийством.

Мелани, у которой папа тоже умер от рака.

И все остальные.

Мы рассказываем друг другу истории.

Мы играем.

Мы рисуем.

Мы смеемся и плачем.

Мне это уже помогло.

Да-да.

И всё ещё помогает.

Раз в неделю, после школы, я навещаю могилку Эмиля и смотрю, всё ли в порядке.

От этого мне становится легче.

Иногда мы — мама, папа и я — сидим вместе и вспоминаем веселые истории про Эмиля.

Мама все еще часто плачет.

С некоторых пор папа спит в моей прежней комнате.

Он говорит, это оттого, что он храпит.

Летом мы хотим поехать в Данию, в домик с плотиной в саду.

Я уже радуюсь этому.

Даже если оно будет как-то странно без Эмиля.

Ну что ж...

Одни люди умирают старыми. Другие — маленькими: число их лет лишь одна цифра. Некоторые просто засыпают и больше не просыпаются. Одни попада-

ют под поезд, другим на голову падает цветочный горшок.

Некоторые люди умирают совершенно неожиданно, когда едут в трамвае на работу. Другие падают вместе с самолетом в море и бесследно исчезают.

Бывает, что людей убивают другие люди. Некоторые же умирают оттого, что проглотили куриную косточку или осу, или потому, что на них по неосторожности наступил близорукий слон.

Некоторые люди умирают, потому что они одиноки и тоскуют и тогда сами себя убивают. Они бросаются в воду и забывают, что умеют плавать, или глотают таблетки, от которых все засыпают, но они больше не просыпаются.

Так вот что я хочу сказать:

Все люди однажды умирают.

Так или иначе.

Стоит нам умереть и оказаться под землей, как появляются черви и начинают нас обгладывать. До тех пор, пока от нас ничего не остаётся. Но и эти черви тоже умирают, после чего их обгладывают и поедают новые черви.

Так оно дальше и идёт.

Червь за червем, за червем червь.

И я представляю себе, как некий червь, который съел червя, обглодавшего в свою очередь Эмиля, сыт кладбищем по горло.

— Фу, кладбище, — говорит он сам себе, — само слово какое-то странное.

И он эмигрирует.

На берег какого-нибудь озера.

Или, еще лучше, — на берег моря.

И вот он живет на пляже, куда однажды приходит удильщик, выкапывает этого червя, насаживает его на крючок и забрасывает со всего маха в воду. И вот плывет он, этот червяк, и думает, а не сложилось ли бы все совсем иначе, если бы его старший собрат не обгладывал Эмиля.

Мда.

Не повезло.

Между тем мимо проплывает рыба, и поскольку это не глупая рыба, а, напротив, суперумная, то она осторожненько стягивает червя с крючка и забирает его к себе домой.

И съедает его там.

Спокойненько так.

После чего ложится спать.

И Эмиль, который тоже находится где-то внутри рыбы, — он тоже спит.

Рыбы, между прочим, действительно спят.

Ясно дело.

А когда же им ещё видеть сны?

А потому они зарываются там, под водой, в морской ил или прячутся в расщелинах скал и неглубоких пещерах. Чтобы никто им там не мешал.

Ах да, мои облака — они постепенно опять становятся светлее.
С каждой неделей по чуть-чуть.
Станут ли они когда-нибудь по-настоящему белыми?
Не знаю.
Подождём.
Но, может быть, они и не должны белеть?
Всего хорошего, Эмиль!
Где бы ты теперь ни был.
На небе, под землей или в море.
Тебе не надо бояться.
Я тебя, наверняка, не забуду.
Наверняка.
Даже если дядя Йонас любит повторять:
«С глаз долой — из сердца вон!»
Но ведь дядя Йонас часто несет чепуху.
Ты же знаешь.
До скорого.
Пока.
Уходит.

КОНЕЦ